

В минуты жизни трудные я с давних пор привык спасаться, включая на полную мощность механизмы памяти. Я привык спасаться и утешаться, восстанавливая в деталях и мелких подробностях картины из детства, юности и даже из относительно недавних времен — картины, события, мелодии, речи, строчки, реплики, лица, запахи, тактильные ощущения, которые хотелось и хочется вспоминать как моменты счастья, как якоря и спасательные круги, не позволяющие идти на дно.

Сейчас, вот уже несколько месяцев, я, пытаюсь прибегнуть по давней привычке к этому, казалось бы, испытанному средству, с ужасом обнаруживаю, что на счастливые воспоминания налипла какая-то непонятного происхождения вязкая слизь, не позволяющая не только брать их в руки, но даже и просто прикасаться к ним.

Остается надеяться лишь на то, что это не навсегда.

Тайнинка. Так назывался — впрочем, называется и теперь — небольшой дачный поселок рядом с Мытищами, в котором я прожил значительную часть своего детства.

Там же я ходил в школу, и ходил я туда до 9-го класса, пока мы с родителями не переехали в другое место.

Тайнинка, повторяю, была дачным местом. Но многие — как мы, например, — жили там постоянно. А какие-то семьи переселялись туда только в летние месяцы. Поэтому среди моих тайнинских дружков были вроде как постоянные, а были, можно сказать, сезонные.

Меня, надо сказать, буквально с тех пор, как я стал читать увлекательные детские книжки вроде «Острова сокровищ», не оставляла настойчивая мечта найти клад, тайник, разгадать какую-нибудь важную тайну, которая радикально изменит мою жизнь, и изменит ее в исключительно лучшую сторону — а в какую же еще.

И в этом контексте название поселка, в котором я жил, оказалось как нельзя кстати. «Тайнинка», разумеется, от слова «тайна», а иначе и быть не может. А эту тайну необходимо разгадать. И разгадать ее должен не кто-нибудь вообще, а именно я.

Обдумывал я также и объемный историко-приключенческий роман, в сюжетном центре которого была бы она самая, моя Тайнинка.

Роман должен был называться «Тайный ход».

И этими своими планами я сдуру стал делиться с родственниками.

Они же, ограниченные в своем мещанском мирке и поэтому не способные по достоинству оценить величие замысла, восприняли эти мои литературные поползнове-

ния исключительно юмористически, что мое еще не развитое, но уже проклюнувшееся авторское самолюбие не могло, конечно же, не уязвлять.

Веселье взрослых по поводу моих великих замыслов принимало иногда даже и околхудожественные воплощения.

Так, например, мой дядя Сава, отец моего кузена художника Юрия Злотникова, будучи и сам художником-любителем, нарисовал однажды такую картинку. На краю железнодорожной платформы спиной к зрителю стоял мальчик. Параболическая пунктирная линия, начинавшаяся где-то в нижней половине его туловища и уходившая куда-то вниз, не оставляла сомнений в том, что изображенный на картинке отрок увлеченно мочится с платформы.

Под картинкой была подпись: «Левка описывает Тайнинку». Взрослым казалось это ужасно смешным. Мне — не очень. Но ощутить себя героем художественно-графического произведения было все же лестно.

Призрачная и до поры до времени не оформленная тайна Тайнинки все же продолжала интриговать мою беспокойную душу.

Этим я делился и со своим сердечным дружкой Смирновым, с которым нас объединяло неумное фантазерство, граничившее с визионерством. Образ нашей Тайнинки как места загадочного заворожил и его.

Хорошо помню, как в один из летних дней 1961 года друг Смирнов сказал: «Я где-то прочитал, что из Кремля в Загорск (это теперь Сергиев Посад) прорыт тайный подземный ход. По моим расчетам, он должен проходить прямо под платформой Тайнинская». Где прочитал? Какой ход? По каким расчетам? Неважно. Главное — это моя

несокрушимая готовность поверить в любую приключенческую чушь.

«Давай, — говорит, — залезем под платформу и посмотрим, что там. Вдруг какой-нибудь тайный вход. Все равно делать нечего».

Делать нечего. Мы взяли большой китайский фонарь и заползли под платформу. Самое смешное, что под ней действительно оказалось что-то вроде колодца. Причем открытого. Мы торжествующе переглянулись и полезли. Хода там не оказалось, а оказалось совсем не глубокое замусоренное дно. Смирнов первым делом наступил на ржавую проволоку, которая порвала ему штанину и здорово поцарапала ногу. Пока он долго и цветисто матерился, я с размаху вступил ногой в изобильную и почему-то совершенно свежую кашку.

Но мы решили не отступать и стали шарить фонариком по стенам. Ничего там не было, не считая одной короткой, очень выразительной и хорошо всем известной надписи.

Недолго подумав, мы решили приостановить поиски до следующего раза и вылезли на поверхность. Мимо нас с грохотом ехали поезда в ту и в другую сторону. Дождавшись, когда они утихнут, мы выбрались из-под платформы и отправились домой: он — поминутно задирая рваную штанину и рассматривая ссадину на ноге, я — не очень, надо сказать, успешно — обтирая ботинок о траву.

«Завтра придем опять», — с несколько искусственной, помню, бодростью в голосе говорил Смирнов. «Ага», — соглашался я. Но мы так и не пришли, потому что потом появились другие дела — очень какие-то важные и интересные, а вот какие — не помню. И, наверное, это даже хорошо, что не помню. Нельзя же совсем все помнить.

Начать, боюсь, придется с зависти — не с самого, прямо скажем, доблестного чувства. Причем не с чьей-нибудь вообще зависти, не с абстрактной. С моей, с моей собственной, активно присущей мне в детском возрасте и не уверен, что в полной мере преодоленной к настоящему времени.

Я был, короче говоря, мальчик необычайно завистливый.

Но почему-то завидовал я чему-нибудь по большей части странному, чему-нибудь такому, чему обычно особенно завидовать как-то не очень принято.

Ну, например.

Были у меня в детстве два друга-приятеля. Один из них жил на втором этаже, и я ему страшно завидовал, потому что ему можно было целыми днями сидеть у окна, рассматривать различных прохожих и иногда даже, когда никто его не видел, кидаться в кого-нибудь из прохожих катушками из-под ниток, пустыми спичечными коробками, конфетными фантиками или жеваными промочками.

Второй, напротив, жил в полуподвале со своими родителями-дворниками. Ему я тоже завидовал, потому что как же: подземелье, подполье, пещера, тайные ходы и черт знает что еще.

Завидовал я еще и тому, что в этой семье говорили по-татарски, что они в своем заветном подземелье могли разговаривать на тайном, непонятном окружающим языке.

Нижние половинки окон показывали лишь кирпичную кладку, а в верхних были видны бодро сменявшие друг друга башмаки и валенки, а также приземлявшиеся

Это была, в общем-то, всего лишь вторая смерть в моей жизни. Первой, когда мне было восемь лет, умерла моя бабушка, мамина мама. Бабушка долго болела и умерла во сне. Мы жили вместе, и я спал с ней в одной комнате. Я проснулся ранним утром от голосов родителей. Они говорили тихо, чтобы не разбудить меня, но я проснулся. Я не слышал отдельных слов, но я понял, что произошло. И я, помню, плотно зажмурил глаза, прикрывшись спящим. Почему и зачем я так поступил, я не помню, точнее, не знаю.

После этого я долгое время боялся заснуть, потому что боялся не проснуться. Как бабушка. Со временем это прошло, но было это довольно долго, года полтора или даже два.

А теперь я стоял и оцепенело смотрел на тети-Любино чужое лицо.

В какой-то момент я заметил, что из ее ноздри выглядывает некрасивая засохшая козявка. Видимо, в тот же самый момент это же самое заметил и дядя Мотя. Потому что он как-то неуверенно и робко, чуть ли не на цыпочках просеменил к ее лицу и очень бережным, очень осторожным движением, как будто боясь ее разбудить, вынул эту самую козявку, после чего завернул ее зачем-то в свой носовой платок и положил в карман пальто.

Вот тут уже разревелся и я. И ревел я от души.

Ревел ли я оттого, что почувствовал, как неудержимо и болезненно отпал от меня в тот момент целый пласт моей прошлой жизни — со своими маленькими, но непререкаемыми до поры до времени ценностями, приоритетами, авторитетами?

Понял ли я тогда, что не только дорогие мне люди рано или поздно исчезают непонятно куда, но и связанные

с ними звуки, запахи, слова, мелодии, картинки, места перебираются из цветущего чувственного мира в ненадежную дырявую память?

Понял ли я тогда, что никогда больше не приеду в город Севастополь, который так любил в детстве?

Нет, конечно, я этого не знал, еще долгие годы после этого вынашивая какие-то призрачные планы паломничества в давно утерянный рай.

Ничего этого я не знал и не чувствовал тогда, в тот день, когда, пятнадцатилетний, в запотевших очках, с кроличьей шапкой в руках, стоял я в промозглом больничном морге у неживого тела любимой тетки. А просто стоял и плакал, стоял и плакал.

Странное имя

1.

Я помню, как на кухне женщина со странным именем Ганя, окруженная взволнованными соседками в разноцветных халатах, рассказывала им новости про Люську.

Помню, как поразила меня эпическая невозмутимость ее интонации. Дело в том, что речь шла о возможно трагических перспективах в дальнейшей судьбе этой нелутовой Люськи.

Люська была ее дочкой. Она постоянно меняла кавалеров, последовательно изменяя одному с другим, и вся ее полная приключений жизнь всегда горячо и азартно обсуждалась всей кухней.

Последним ее ухажером был милиционер, который, узнав о дежурном ее коварстве, твердо пообещал ее застрелить из табельного оружия. И даже показывал ей это

оружие, подкрепляя таким образом серьезность своих намерений.

«В общем, завтра все и решится! — неторопливо говорила Ганя, ловко переворачивая котлеты. — Или, значить, он ее убьет...»

2.

Я помню, как на кухне женщина со странным именем Ганя говорила женщине средних лет Тоне: «Я накипь с бульона всегда снимаю. Я эту накипь люто недолюбиваю. Мне гораздо лучше нравится, когда бульон прозрачный». «А по-моему, зря, — степенно не соглашалась с ней Тоня. — Может, с накипью и не так красиво выходит, зато в этой накипи самый полезный глюкоз».

3.

Я помню, как в кухню в майке-«алкоголичке» и в брюках с подтяжками входил, позевывая, человек Соловьев. У него, кажется, вовсе не было имени. Все называли его просто Соловьев. Он и сам себя так называл, причем говорил он о себе всегда в третьем лице. Он был сколько-то-юродный брат женщины Гани.

Он приехал откуда-то из провинции и какое-то время прожил в Ганиной комнате. Потом куда-то незаметно исчез. Позже я узнал, что он был госпитализирован в психиатрическую больницу. А куда он делся потом — остался ли там навсегда или уехал на родину, — я не знаю. Во всяком случае, в нашей квартире я его больше не видел.

А мне он, между прочим, очень нравился. Во-первых, он, — повторяю, — говорил о себе в третьем лице. Например, так: «Человек-Соловьев поел-покушал! В аппетите сытность, в здоровье поправка!»

Что означали эти загадочные конструкции, претендующие на статус афоризмов, я не понимал тогда, не понимаю и теперь. Но мне нравилось.

А еще он, когда сердился, укоризненно говорил: «Хамства недолюбивают!» Уже не просто в третьем лице, а еще и во множественном числе. И это мне тоже нравилось.

А больше всего мне нравилось, что Соловьев был, что называется, «человек-часы». В любое время суток у него можно было спросить, который час, и он без запинки, не глядя ни на какие часы, четким военным голосом проносил точное время, отличаясь от соответствующей телефонной службы «100» лишь тем, что мог позволить себе ошибиться на минуту или полторы.

4.

Я помню, как на кухне женщина Алевтина Андреевна рассказывала женщине со странным именем Ганя про своего покойного мужа: «Такой был культурный человек Валерий Аркадьевич, такой воспитанный, такой предупредительный! Вы не представляете себе! Я вот, например, соберусь, бывало, пойти в уборную, а он всякий раз спросит: „А ты, Алечка, газетку-то взяла? Не забыла газетку?“ Как мне его не хватает, если бы вы знали!»

5.

Я помню, как в кухню вошел полоумный Соломон и, обращаясь к женщине со странным именем Ганя, радостно сказал: «Наташа!» (почему вдруг Наташа?). «Наташа! — сказал он громким восторженным голосом. — Я вчера только приехал из лесу!» (Какой лес? Он четыре дня не выходил из своей комнаты, а за окном стоял безнадежный февраль.) «Я только что из лесу! Грибов — видимо-невидимо».

димо! Следующее воскресенье прошу ничем не занимать! Поедем вместе. Такие покажу места!»

А четыре дня тому назад Соломон, разговаривая с кем-то по телефону, кричал в трубку: «Если я завтра же не получу письменный ответ на мое заявление, я пишу лично товарищу Сталину!»

«Соломон, — сказала проходившая мимо с дымящейся папиросой женщина Лидия Степановна, — Сталин уже четыре года как умер». «Как — умер! Что вы такое говорите! — бледнея, произнес Соломон и дрожащей рукой повесил трубку. — Этого не может быть!» «Точно, точно!» — сказала мстительно Лидия Степановна. Она не очень почему-то любила Соломона. Сталина, кстати, тоже.

Держась за сердце, Соломон ушел к себе, заперся на ключ, и четыре дня его не было ни видно, ни слышно. А потом вдруг появился на кухне бодрый и веселый, и вот, пожалуйста, — «Лес», «Грибы», «Наташа»...

А вообще-то он был тихий и безобидный. Любил играть в шахматы, хотя и не умел.

6.

Я помню, как на кухне женщина со странным именем Ганя, обтерев руки фартуком, неумело завязывала галстук на шее холостяка Залипского.

Холостяк Залипский недавно грохнулся с лестницы в темном парадном и сломал руку. Теперь рука его была в нарядном белоснежном гипсе, и он никак не мог сам себе завязать галстук.

А завязать было надо. Потому что полчаса тому назад Залипский утробным голосом говорил в телефонную трубку: «Натэлочка, нам необходимо встретить-ся именно сегодня. Лучше всего прямо сейчас. Да-а.

А то потом ведь, я знаю, начнутся эти ваши традиционные три дня. Шучу, шучу! Ну-у, прекра-асно... До скорой встречи!»

Женщины на кухне за глаза говорили между собой, что Залипский — «ходок». Хотя странно: ни на одного из бородатых ходоков с мешками и в лаптях, изображенных на репродукции в «Огоньке», он ничуть похож не был. Напротив: он был хорошо выбрит, носил красивый ровный пробор, и за ним всегда тянулся длинный шлейф одеколона «В полет».

Мужчины, курившие в коридоре, — тоже за глаза — часто произносили его фамилию, меняя ударное «И» на «У». Судя по всему, это означало примерно то же самое, о чем говорили женщины. При этом они привычно и даже как-то нехотя ухмылялись.

7.

Я помню, как женщина со странным именем Ганя, стоя во дворе с клеенчатой хозяйственной сумкой в руке, истошно орала в сторону нашего балкона: «Лена! Лена!»

Леной звали мою мать. Она в этот момент была на кухне и не могла ответить Гане. А Ганя продолжала кричать и звать ее. А с балкона в это же самое время раздавался другой крик, не менее, а пожалуй что и более истощный. Это кричал трехлетний мальчик Лева, чья голова застряла между прутьями балконных перил.

Это длилось довольно долго, до тех пор пока женщина со странным именем Ганя не вбежала в квартиру, не рассказала моей матери про то, что случилось, пока мать не сбегала за дворником Фаридом, пока дворник Фарид не прибежал и не разогнул проволочные прутья.

После освобождения своей злополучной головы мальчик Лева кричал еще примерно двадцать минут. Потом

он успокоился. Тем более что за свои страдания он был достойно вознагражден: в этот день его не заставили пить рыбий жир.

8.

Я помню, как на кухне женщина со странным именем Ганя говорила соседке Клавдии Николаевне, женщине культурной и, по выражению Гани, начитанной. «Вчера полночи читала книжку, — говорила Ганя. — На скамейке нашла. Хорошая книжка, интересная. Кто написал? Не помню. Какой-то мужчина. Название? Это помню. Название называется „Рассказы“. Там собака потерялась, а ее подобрал на улице артист из цирка. Ну, и всякие события. Интересно, хотя и грустно. Но ведь и в жизни все так».

9.

Я помню, как в комнате у женщины со странным именем Ганя поселился мужчина. Его звали Иван Петрович. Он был одноногий. Она про него говорила, что он — родня из Белоруссии. Но соседки, кажется, не очень этому верили и лишь переглядывались.

Он был столяр. И он смастерил для Гани кухонную полочку с перекладной для развешивания кастрюль и сковородок. А также — табуретку.

И то и другое так понравилось остальным соседкам, включая мою маму, что и они все заказали Ивану Петровичу такие же. Тем более что брал он за это совсем немного, а работал быстро.

Через какое-то время у всех появились совершенно одинаковые полочки и табуретки, к тому же одинаково покрашенные в неопределенный серо-розовый цвет.

Потом все постоянно выясняли друг у друга, где чья табуретка. Хотя какая разница, если они все равно одинаковые!

А потом Иван Петрович куда-то пропал. То ли уехал на родину, то ли еще что-нибудь...

10.

Я помню, как женщина со странным именем Ганя вбежала в нашу комнату с криком «пожар». Мы все побежали в ее комнату, из окна которой был виден пожар. Пожар был во дворе. Горели сараи и гаражи.

Я увидел, как Толик из соседнего подъезда вбежал в свой пылающий гараж и вывез оттуда трофейный мотоцикл с коляской. О том, что мотоцикл был заправлен бензином, он не успел подумать. Но все закончилось благополучно.

11.

Я помню канун ноябрьского праздника. Мне десять лет. Телевизор. Торжественное заседание. На трибуне Хрущев. Он говорит бесконечно долго.

Заглядывает женщина со странным именем Ганя. У нее телевизора нет. Она ждет, когда уже можно будет прийти к нам, чтобы смотреть праздничный концерт. Она уже накрасила губы и сменила ситцевый халат на блузку и юбку.

Ох, как я помню и как не забуду я никогда эти праздничные концерты!

Сначала — хор. Ваню Мурадели! «Партия — наш рулевой». Сцены из спектакля «Кремлевские куранты». Чтец. Отрывок из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

«Никита там еще не кончил трепаться?» — весело и непочтительно спрашивает Ганя. Уже, в общем-то, можно, уже 57-й год.

12.

Я помню, как женщина со странным именем Ганя говорила с укоризной: «Что же вы, Клавдия Николаевна, пеленки в коридоре вывесили, а даже их не постирали? Ведь ссаками же пахнет даже на кухне!»

«Так это же детские! — улыбаясь, отвечала ей интеллигентная, но не очень хозяйственная Клавдия Николаевна. — Детские же не пахнут!»

«Очень даже пахнут!» — сердито отвечала Ганя и ногой открывала дверь своей комнаты, потому что руки ее были заняты огромной миской с котлетами.

13.

Я помню, как на кухне женщина со странным именем Ганя, как всегда, разговаривала с репродуктором, висевшим на стене и рассказывавшим о собаке Лайке. Она ворчала: «Тут людям жрать нечего, а они собак в космос запускают!»

Меня же волновало совсем другое. Мне сказали зачем-то, что Лайка на землю уже не вернется, и я расплакался, вспомнив про бестолковую и заполошную дворняжку Бульку, кормившуюся в нашем дворе.

14.

Я помню, как женщина со странным именем Ганя, когда она подходила к телефону, всякий раз говорила: «Это кто?» Женщина Валентина Николаевна говорила: «Слушаю». Ее дочка Анька говорила: «Вас слушают». Бывший майор Никитенко говорил: «На проводе». Пожилая

и интеллигентная Клавдия Николаевна, семье которой когда-то принадлежала вся квартира, говорила: «Алоу». Метростроевец Гаврилов коротко и грубовато говорил: «Да». Алкоголичка Ньюра, которой никто никогда не звонил, брала трубку и говорила: «Вам кого?»

15.

Я помню, как из подъезда в синем сатиновом халате и в галошах на босу ногу стремительно выскочила совсем не знакомая мне женщина и резво помчалась по периметру квадратного двора.

Вслед за ней не менее стремительно выскочила другая незнакомая женщина, тоже в халате и вовсе босиком, но зато с березовым поленом в руке. Она довольно быстро нагнала первую женщину и от всей души огрела ее поленом по спине, истошно крича при этом: «Отстанешь от меня или нет!»

После чего она столь же стремительно вбежала обратно в подъезд, громко хлопнув дверью.

Куда при этом подевалась женщина, ударенная поленом, я как-то упустил из виду. Куда-то, в общем, она подевалась...

16.

Я помню, как 1-го (или 2-го?) мая пятьдесят, представьте себе, третьего года мы с соседским Павликом (я в новой розовой тенниске, а он не помню в чем) во весь голос распевали во дворе: «Союз нерушимый, сидим под машиной и кушаем кашу за Родину нашу!»

Проходившая мимо Клавдия Ефимовна с двумя авоськами в руках лишь фыркала в ответ. Ее дочка Рита, наша ровесница, семенила вслед с равнодушным, но при этом торжествующим видом. А все потому, что в этот же

самый день ее приехавшая из Харькова тетя Бетя подавала ей целую коробку игрушечной посуды. Ого! До нас ей было.

А все остальные, кто во дворе, включая даже и нетрезвого с самого утра одноногого баяниста дядю Колю, и вовсе нас не замечали, что было даже и несколько обидно.

Примерно в тот же самый момент мой старший брат, уже пятнадцатилетний почти что круглый отличник, на коммунальной кухне, умываясь под струей воды, комически отфыркиваясь и сдувая мыльную пену с губ, дурным голосом, заметно фальшивя и слегка меняя слова, подпевал висевшей на ободранной стене черной тарелке-радиоточке: «Кипучая! Вонючая! Никем не победимая!»

Женщина со странным именем Ганя неопределенно хмыкала и почему-то озиралась по сторонам.

А Сергей Александрович Фомин, летчик в отставке с больным сердцем, проходя мимо, слегка, шутливо проходил своей большой рукой по его затылку, как бы говоря: «Ну, ты это, не очень-то». И, в общем-то, улыбался.

Потому что праздник. Потому что вообще-то все хорошо в этом мире, и все целы, и нет войны.

А страшно почему-то не было. Мы не боялись почему-то совсем. Даже и в голову такое не приходило. И даже взрослые почему-то не боялись. Даже не знаю почему. Видимо, потому что *его* уже не было.

17.

Я помню длинный рассказ женщины со странным именем Ганя про какого-то своего дальнего родственника, знаменитого среди своих родных и знакомых не столько тем, что он много и часто женился, сколько тем, что его

разнообразные разводы всегда имели какие-то анекдотические причины.

С одной из своих жен, например, он расстался потому, что она невыносимо храпела. А самым для него оскорбительным было то, что она это яростно отрицала и категорически утверждала, что это храпит он. Он потерпел, потерпел и ушел к маме, взяв с собой только две пары штанов.

«А мог бы и совсем без порток убежать! — говорила Ганя. — Так она его допекла».

Другая жена изменила ему с соседом по лестничной площадке, с которым она регулярно встречалась около мусоропровода, когда выбрасывала мусор, или около лифта, а то и в самом лифте. Она сама призналась в этом, объяснив свою измену тем, что ей стало его ужасно жалко. «Он так смотрел, прямо как собака», — говорила она своему мужу. Ну, и они разошлись.

«Блядь, в общем, оказалась», — лапидарно резюмировала Ганя.

А еще одна, которая ему поначалу ужасно нравилась и за которой он долго ухаживал, скрыла от него свою фанатичную приверженность модному тогда поветрию — уринотерапии.

«Ну, ссаки пила. Для здоровья. Дурочка совсем», — пояснила Ганя.

Ему это — что, в общем-то, нетрудно понять — нравилось не так чтобы очень, но он решил отнестись к этому толерантно, поставив, впрочем, одно, тоже вполне объяснимое и не вполне, надо сказать, обременительное условие: для этих дел он выделил ей определенную и легко запоминающуюся чашку с веселой картинкой на боку и настоятельно просил пользоваться для этих ее оздоро-

вительных целей только ей, и больше никакой другой. («Отсюда, — говорит, — пей свою руину. Ну, урину, какая разница! А остальное не трогай!»)

Но она по рассеянности время от времени путала чашки, и он никогда не знал точно, в какой чашке что было налито до того, как он собирался попить чаю.

В общем, с ней он разошелся тоже. («Иди, — говорит, — отсюда и лакай свою дурину где хочешь! Только чтоб не здесь!»)

А уж потом он больше не женился.

«Так и живёт один. А ведь культурный человек, инженер по электролампочкам. Инфаркт уже был. Правда, пока всего один».

18.

Я помню, как посреди кухни на шаткой табуретке сидел одноногий и не очень трезвый дядя Коля с баяном. Он играл на баяне и пел «На границе часто сниц-ца дом радно-о-ой...»

А женщина со странным именем Ганя вытирала влажные глаза фартуком. Всплакнула ли она от песни или от того, что в этот же момент резала лук для котлет, — кто знает...

Я помню клубящихся в густом котлетном дыму теток в разноцветных халатах, вертлявого мальчика Костю, пытавшегося вытащить из-под тумбочки закатившийся туда резиновый мячик, полоумного седого Соломона, стоявшего в дверях с шахматной доской и бессмысленной улыбкой, помню все.

Нюра

Такая была в Тайнинке Нюра. Не тетя Нюра, просто Нюра, женщина без возраста, без биографии, без каких бы то ни было зубов, в вечном синем сатиновом халате, в сером платке, в галошах на босу ногу. Техничка в нашей одиннадцатой школе. Тогда было такое слово «техничка», то есть уборщица.

Мыла пол в классах и в коридоре. Разливала из специального замурзанного чайничка с длинным узким носиком чернила в чернильницы на наших партах. Поэтому и сама — руки, халат — вечно была в чернилах.

Была столь же привычной и обязательной, как классная многократно крашенная доска, как досконально изученный мною потолок с развивающими воображение мутными пятнами и разводами, как облупленные перила школьной лестницы.

В общем, Нюра.

У Нюры была дочка. Наташа. Наташа была, как тогда говорили, «дурочка».

Ходила по улице в чем бог послал, все время улыбалась, здоровалась по нескольку раз с одними и теми же людьми. К ней относились по-доброму, но без какого бы то ни было интереса. Не смеялись над ней, нет. Но и не то чтобы как-то специально жалели. Тоже, в общем-то, часть ландшафта, привычная и неизбежная. Дурочка и дурочка.

Однажды она куда-то пропала. Взрослые говорили: «Наташа-дурочка пропала».

День, два, неделя... Поговорили и перестали. Ну пропала, что ж теперь.

В один из дней я услышал, как соседка Елена Илларионовна говорила моей маме: «Наташу-то нашли! В лесу!»